

ПАМЯТИ А. М. РЕМИЗОВА

В ноябрь прошлого года исполнилось 10 лет со дня кончины Алексея Михайловича Ремизова.

Вспоминается его мягкий голос, его добрая улыбка. Казалось, Алексей Михайлович всегда был доброжелательно и дружественно настроенным. При встрече он сейчас же спрашивался, что написано нового, какие предстоят литературные выступления, всегда радовался, если что-то устраивается, и давал нередко ценные советы. А после литературного вечера с любопытством спрашивался — как все прошло.

Алексей Михайлович жил нашей общей жизнью, но жил он, будто, и жизнью XVIII века и только то время волновало его по-настоящему. Он изучал давнее прошлое, переживал его и неустанно и непрерывно работал над его языком, считая, что только язык семнадцатого века — подлинный русский язык.

В своей чудесной книге “Россия в Письменах”, состоящей из 34-х, не связанных содержанием, но связанных общим дыханием Рассел, очерков, он рассказал и о Каменных прудах, и о Ковше, и о Базарь, и о Псалтырь и Часовник, и Академия и Оракул, и о Гадающих картах, и о многом другом.

В очерке “Столбец” (“столбец — это узенькие полосы бумаги, склеенные концами и скатанные в трубочку; размер столбцов разный: от размера почтовой бумаги до, если вверх поднять, с Ивановскую колокольню будет”) А. М. пишет: “Мало уметь грамоты, надо и еще кое-что, надо своей рукой обвести те письма русские, какие в прошлом начертаны русскими людьми, чтобы поверстать свою душу с душой народной и идти вместе с народом по его исконным думам, — делать русское дело.”

“Никогда не забуду, как однажды с Волги я увидел наш старый город в его красе колокольной — Романов-Борисоглебск.

— Так вот она какая Россия!

“И подумал:

“Это надо, чтобы русские люди заглядывались, как я засмотрелся... и солнце в глаза бьет, и до боли рябит волна, а оторваться не хочется.

— Вот она, Россия наша!”

А. М. любил Россию и никакая “заграница” его не трогала ни своей цивилизацией, ни культурой, ни даже своей великодушней природой, к которой он также был совершенно равнодушен. И никакая

пофизки, даже на юг Франции, его не соблазняли. Он никогда не покидал Парижа.

В очерке названном “Академия, санктпетербургское”, — Ремизов вспоминает Нарву, вспоминает как привелось ему сделать посылку: “старая тетрадка без начала и конца петровского времени. 78 удельных листов — тетрадка порядочная — с нарвского разгрома (1700 г.) и до взятия Выборга (1711 г.) — описание событий и деланий Петровых — война шведская”. Далее пишет, как он мучительно переживал переименование Санкт-Петербурга “сначала в Петроград, а потом в красный Петроград”. “И пришло такое время конечное, вон побьжали из Петербурга кто куда, оставляя дом Петров — последнее наше окно.

“Тут я опять петровскую тетрадку достал.

“Горько и досадно мне стало на простоту нашу погубительную.

“И если в первый раз я только по тетради глазами прошел, теперь я сам ее перешивать.

“Духом Петровым дышит всякая буква, а всякий завиток виноградный и усик хмелевой надстрочный — волен, могуч и крепок.

“Сказывают мудрецы, дается человеку при рождении его планета. Ну, как сказать, кому планета, а кому на двоих одна, а то и на троих, а бывает, что и на целое собрание половины много, — не сосчитаешь, а какая доля всех покроет. Петру же дана была планета, не одна, не две и не три, четырнадцать — одному.

“Потому и затеи не летели по ветру и дело его было крепко.

“А дело его — Россия.

“Вы понимаете, что такое по тому времени велеть с церковью колокола снимать да из колоколов пушки лить? Да, ведь это все равно, что по теперешнему, ну, обратить бы церкви в арсенал.

“Колокола сняли, пушки вылили — послушали.

“А послушали и за страх и по вѣрѣ.

“А повѣрили, потому что почували.

“А почували — Петра, дело его.

“А дело его — Россия.

“Несчастье тогда под Нарвою не было бедой для России, и не гнев это был Божий, а милость.

“И это видел Петр.

“Много из нас русских, подлаго духа — лѣни невообразимой, воровства и какого-то самодовольного лomanья. Надо, чтобы всхлестнуло тебя хорошенько, чтоб ты очнулся от своей дури дурацкой, да за ум взялся.

“Бич немецкий хлестнул по России, а Петр поднял дубинку на лежня — тишайшую Русь.

“И не бессильное, чудосочное, неуверенное *с-могу* зазвучало в словах Петра, а могучее его *могу*”.

.

“Когда сіе несчастіе или лутше сказать великое щастіе получили, тогда неволя лѣность отгнала и к трудолюбію искусству день и ночь принудила, с которым опасеніем и искусством как час от часу сія война ведена, то ясно будет и в слѣдуемой посем исторіи”.

В одном из очерков этой книги, названном “Псалтырь провинціальный”, А. М. рассказывает, как Юрій Верховскій Слон принес ему однажды “именинный дар”. Сначала ему показалось что это табакерка, или ящичек из желтой кожи покрытый красным лаком. Но это было ни то, ни другое, “а Псалтырь екатериненскій. Поставил я псалтырь на полку. Да так и стоял он у меня...”

“В трудную минуту — поистинѣ скажу, только промыслом Божьим еще и жив я на бѣлом свѣтѣ! — в ночную темную пору, когда и звѣзды-то небесныя куда-то всѣ запрячутся, с ночником-лампочкой коротая ночь, вспомнил я, раскрыл псалтырь — судьбу увѣдать.

“И вышло:

“И мимо идѣх и се не бѣ”.

“Грѣшный человекъ, ничего не уразумѣл. А стал я закладку перебирать — блѣдно-розовая с городочками.

“А потом перелистывать начал.

“Вижу, заклеенная страница.

“Взяло любопытство. Посмотрѣл я на свѣт, а там густыми, крѣпкими буро-желтыми чернилами надпись:

“1785 года, іюня 5 дня, сею книгою благословил я дочь свою Екатерину Григорьевну, которая родилась 1776 года ноября 14 дня. Григорій Розанов”.

“И взяла меня дума — крѣпко в руках держал я псалтырь — и поплыли передо мной воспоминанія. Не воспоминанія, а от бурных чернил, от руки старца Григорія Розанова плывъ памяти.

“И встает в памяти моей какой-то далекій провинціальный город XVIII вѣка, затерянный среди песков и лѣсов обширной родины нашей Россіи.

“Видится мнѣ ряд бѣлых домиков, утопающих в зелени садов и палисадников.

“А дальше в концѣ улицы даль и гладь.

“За широкой полосой зеленых лугов, за далью холмов сизым пологом подымается туча. Душно послѣ жаркаго дня. Бѣлыя зарницы полыхают между землей и тучей.

“И прощаясь протянулись длинныя полосы свѣта — отблеск послѣдняго уходящаго солнца.

“А свѣтлая зелень палисадников и вымытые нарядные дома — все говорит о мирном житіи, о спокойствіи духа, о простотѣ и довольствѣ.

“Задумался о. Григорій в своем палисадникѣ перед шипящим самоваром.

“Бѣлоснѣжная камчатая скатерть сверкает, как снѣг.

“В палисадникѣ бѣгает, рвет малину курносенькая дѣвочка с двумя косками, младшая дочь отца Григорія, Катя: пушистая мордочка измазана ягодами.

“Хорошо посидѣть за самоваром в палисадникѣ.

“Хороши пѣнки — первое лакомство Катино.

“Задумался о. Григорій о Катѣ: бѣдовая уж очень дѣвочка, а главное любимица первая.

“И вдруг вспомнил, вышел в кабинет, взял со стола псалтырь и положил твердую надпись — пусть это будет ей память о сегодняшнем днѣ.

“Шумит самовар, выются мухи, жужжит пчела — пора спать пчелѣ, нѣт, жужжит. Завтра дождик будет. Да дай Бог.

“А дальше не знаю, не помню”.

Эта идиллическая картина могла быть увидѣнной только глазами Алексѣя Михайловича, который так живо нарисовал ее, прочитав нѣсколько строк из псалтыря. И хочется напомнить слова М. Л. Гофмана, который однажды сказал: “хороши лирическія пѣсни о Россіи и велика любовь к Россіи Ремизова”.

Один из послѣдних рассказов, помѣщенных в книгѣ “Россія в Письменах”, назван “*обрывши*, милицейское” — он переносит нас из XIX вѣка в страшные современные годы.

“Хорошо благоухает жарким лѣтом от скошенной травы, только что скошенной под жарким солнцем.

“Хорошо среди свѣжаго сѣна в тѣни на ступеньках сарая, когда все, что можно глазом окинуть, залито золотящим солнцем, и легкій вѣтерок наносит запахи калуфера, мяты, чебыря и дикаго шиповника.

“В один из таких дней, я, бездомный, присѣл вот так на спуск у бревенчатого сарая, в который только что входили хозяйственные мужички, обобравшіе до-чиста владѣльца. На бревенчатом скатѣ я и увидѣл вот эти обрывки бумаги и цѣльный голубой лист.

“Почерком начала прошлаго вѣка крупно: “Аттестат”, а дальше — Ковырнев.



“Дан сея находящемуся во 2-ой колоннѣ костромской подвижной милиціи штабс-капитану Ковырневу в том, что он находился на службѣ с начала сформированія третьяго отдѣленія подвижной милиціи 2-го батальона ротным начальником, потом в походѣ со второю ротою, а из онаго до Могилева пятисотенным командиром, из сего из послѣдняго отправлен мною был с порученною ему командою ратников в город Смоленск и Оршу, гдѣ сдал тѣх ратников во всей исправности, и во все время продолженія служенія его должность на его возложенную, исправляя со всею исправностью и дѣятельностью, вел себя, как прилично хорошему и радительному офицеру, в штрафах и подозрѣніях никогда

ни за что не бывал, во свидѣтельство чего сей аттестат ему, господину Ковырневу, за подписаніем моим и дан.

“Сентября 9 дня 1808 г.

Надворный совѣтник и кавалер Н. Нелидов.”

*
**

“Ковырнев? Что-то знакомое. Но это, конечно, не он. И не сын и не внук, а правнук челоуѣка из аттестата: узкогрудый прапорщик.

“И вспомнился мнѣ Саша Ковырнев: застѣнчивый, неловкій и на лицѣ, как тѣнь, обреченность. На войнѣ, дѣйствуя керенским убѣжденіем, он был истоптан солдатскими сапогами.

“Ковырнев? Безцѣльно погибшая жизнь.

1918 г.”

А. М. Ремизов был очень религіозным, церковно-религіозным челоуѣком. Послѣ смерти своей жены Серафимы Павловны, которую он глубоко любил, он задолго переживал горестную годовщину дня ея кончины и непременно присутствовал 13 мая на им заказанной панихидѣ в церкви Знаменія Божьей Матери. А описывая ея похороны 16 мая 1943 года, в книгѣ, посвященной С. П., “*В розовом блескѣ*”, он говорит: “...и когда перед гробом я в землю поклонился — на Воздвиженіе, как крест выносят, на “Господи помилуй” полагается сто поклонов, по поклону на каждое “Господи помилуй”, а это было — так я чувствовал — тысяча в моем одном — и за все мнѣ открылось в моей жизни, в нашу жизнь, и за науку — вѣрю, и Там... — и просил простить, если можно... за все — и за то чего не сдѣлал, забыл или не успѣл сдѣлать, и за то, о чем во-время не догадался или сразу не понял. И не холодный камень-плиты, к теплой черной землѣ прикоснулся я всѣм лицом, всю-всю-всю ея тронул, “сырую землю”.

“Дома, не раздѣваясь, я вошел в покинутую комнату: все та же бисерная стѣна и книги, образа в углу, стол, кровать. “Я вернулся, сказалося во мнѣ, а она не вернется!”. И в первый раз я так глубоко заглянул — какая безпросвѣтная пучина: никогда”.

А. Горская.